

Глава 9. Заключение

“ Дикость стала их характером и природой. Они наслаждаются ей, ибо она означает свободу от авторитетов и неподчинение руководству. Подобная, естественная, предрасположенность является, отрицанием и полной противоположностью цивилизации.

— Ибн Хальдун о кочевниках

“ Благодаря тому что причудливые обычаи и экзотические горные племена прославляются, в музеях, средствах массовой информации и туристической отрасли, люди — видимо, городской средний класс — приходят к самопознанию, понимая, кем они когда-то были и кем не являются сегодня.

— Ричард О’Коннор

Мир, который я пытался понять и описать в этой книге, стремительно исчезает. Почти всем моим читателям он кажется очень далеким от мира, в котором они живут. В современном обществе будущее свободы зависит от решения чрезвычайно сложной задачи — укрощения Левиафана, а не ускользания от него. Живя в полностью освоенном и заселенном мире, где продолжает возрастать число стандартизированных институциональных модулей, доминантное положение среди которых занимают североатлантические — частная (земельная) собственность и национальное государство, — мы боремся против резких разрывов в доходах и власти, порождаемых богатством, и против все более настойчивого вмешательства государства в нашу жизнь и жизнь окружающих нас людей. Как удачно выразился Джон Данн, никогда прежде «безопасность и благополучие населения не находились в столь унижительно зависимости от навыков и добрых намерений тех, кто им управляет»[833]. Данн добавляет, что единственный имеющийся в нашем распоряжении хрупкий и ненадежный инструмент усмирения Левиафана — еще один североатлантический модуль, заимствованный у Греции, — представительная демократия.

Мир, образ которого я пытаюсь воссоздать, в отличие от современного, сумел не подпустить государство к себе настолько близко, чтобы оно могло смести все на своем пути. В длительной исторической перспективе это тот самый мир, в котором вплоть до недавнего времени проживала большая часть человечества. Максимально упрощенная версия всемирной истории делит ее на четыре эпохи: 1) безгосударственную (на сегодняшний день самая длинная); 2) эпоху мелких царств, окруженных обширной и легкодоступной безгосударственной периферией; 3) эпоху сжатия и завоевания периферий вследствие

государственной экспансии; и, наконец, 4) эпоху, когда практически весь земной шар превратился в «управляемое пространство», где периферия стала не более чем фольклорным пережитком. Переходы от одной эпохи к другой были крайне неравнозначны в географическом (Китай и Европа продвигались по этому пути очень быстро, в отличие от, скажем, Юго-Восточной Азии и Африки) и временном (расширение и сжатие периферийных пространств зависело от капризов государственного строительства) измерениях. Но в том, что именно эти стадии определяют долгосрочные исторические тенденции, не может быть ни малейших сомнений.

Так уж случилось, что высокогорная приграничная территория, которую мы решили назвать Вомией, представляет собой одну из древнейших и крупнейших в мире зон бегства и спасения населения, живущего в тени государств, но не полностью ими инкорпорированного. За последние полстолетия сочетание технологических достижений с претензиями на национальный суверенитет поставило под сомнение даже относительную автономию жителей Вомии, так что вряд ли мои аналитические изыскания позволяют оценивать ситуацию после Второй мировой войны. О середины XX века в Вомию хлынул массовый поток, как организованный, так и стихийный, ханьцев, киноу, тайцев и бирманцев — из равнинных государств в горные районы. Подобные миграционные перемещения решают двойную задачу: позволяют заселить приграничные территории достаточно лояльным населением, а также производить торговые культуры на экспорт при одновременном снижении демографического давления в долинах. О демографической точке зрения речь идет о стратегии окончательного захвата и поглощения государствами прежде безгосударственного пространства[834].

Тем не менее до недавнего времени горные массивы олицетворяли собой тот базовый политический выбор, который большая часть человечества могла сделать, противостоя гегемонии национального государства. Выбор состоял не в том, как именно укрощать неустранимого Левиафана, а как позиционировать себя по отношению к равнинным государствам. Доступные способы варьировали от занятий подсечно-огневым земледелием и собирательством в удаленных районах на вершинах горных хребтов в рамках эгалитарных сообществ, то есть пространственно максимально дистанцируясь от центров государственной власти, до расселения в формате иерархизированных сообществ вблизи равнинных государств, чтобы пользоваться предоставляемыми подобным размещением возможностями сбора дани, торговли и набегов. Ни один из вариантов не исключал возможности возвращения в исходное состояние. Группа могла регулировать параметры своего дистанцирования от государства, меняя свое местоположение, социальную структуру, обычаи или хозяйственные практики. Даже если группа не перестраивала свой образ жизни и традиции, ее самопозиционирование по отношению к ближайшему государству могло измениться, буквально уплыть из-под ног, в результате распада или подъема династии, войны или демографического давления.

Кем были жители Вомии? Изначально, конечно, все население материковой части Юго-Восточной Азии, будь то в горах или долинах, состояло из зомийцев в том смысле, что они не были подданными государств. Как только здесь возникли первые мелкие индуистские государства-мандалы, большинство не инкорпорированных ими людей в силу самого этого факта превратились в самоуправляемые народы в окружении (небольших) государств. Как

все это происходило и как жило безгосударственное население, мы узнаём благодаря археологическим раскопкам. Полученные данные позволяют предположить, что безгосударственное население характеризовалось широким рассеянием, ремесленной специализацией и достаточно сложной структурой в условиях политической децентрализации и относительного эгалитаризма (судя по равноценному «погребальному инвентарю»). Имеющиеся находки не противоречат версии ряда археологов о существовании «гетерархии» — сложной социально-экономической структуры, в которой отсутствовала единая система социальной иерархии[835]. Данные, которыми мы располагаем, указывают, что горы были слабо заселены и значительная часть безгосударственных народов проживала на плодородных плато и в долинах, крайне редко — в подверженных затоплениям поймах.

По мере того как первые государства, особенно ханьская империя, расширялись, захватывая все новые равнинные территории, пригодные для поливного рисоводства, они порождали по крайней мере два типа «беженцев», со временем определивших облик населения гор. Первый тип составляли прежде безгосударственные народы равнин (многие, возможно, были подсечно-огневыми земледельцами), которые оказались на пути государственной экспансии в ее горизонтальном измерении. Именно из этих групп рисовые государства собрали своих первых подданных. Те из безгосударственных народов, что по каким-либо причинам желали избежать инкорпорирования в государства в качестве подданных, вынуждены были переместиться за пределы их досягаемости — на удаленные от государственных центров равнины или в труднодоступные горы. Таким образом, согласно такой интерпретации, существовал тип безгосударственного населения — те, кто проживал в горах, и те, кто уклонялся от поглощения первыми государствами, — который никогда не был напрямую инкорпорирован государственными структурами. Однако в длительной исторической перспективе горы во все большей степени заселялись благодаря волнам миграции подданных из равнинных государств, бегущих от барщины, налогов, воинских повинностей, войн, борьбы наследников престола, преследований религиозного инакомыслия, непосредственно связанных с процессами государственного строительства. Могло также случиться, что подданные внезапно оказывались в безгосударственном состоянии, когда война, неурожай или эпидемия уничтожали государство или вынуждали людей бежать, чтобы спасти свою жизнь. На замедленной съемке эти пульсирующие всплески миграционных перемещений были бы похожи на нелепую игру, в которой машины постоянно сталкиваются бамперами и каждый новый удар (волна миграции) отражается на уже столкнувшихся машинах (ранее мигрировавших), заставляя их, в свою очередь, сопротивляться давлению или же перебираться в новые районы, также заселенные в ходе предыдущих волн миграции. Этот процесс породил «осколочные зоны» и имеет огромное значение для понимания того, как сложилось то лоскутное одеяло из постоянно переформируемых идентичностей и местоположений, которое мы обнаруживаем в горах.

Во всех смыслах Вомя — «эффект государства», или, точнее, результат процессов государственного строительства и государственной экспансии. Осколочные зоны и регионы бегства/спасения — неизбежный «темный двойник» проектов государственного строительства в долинах. Государства и осколочные зоны отражают значение этого выражения, которым часто злоупотребляют, в полном смысле слова — они являются тенью культурным порождением друг друга. Элиты равнинных государств определяли

себя как цивилизацию через соотнесение с теми, кто жил вне зоны их досягаемости, но от кого они зависели в плане торговли и решения задач пополнения численности подданных (посредством захватов или уговоров). В свою очередь, горные народы зависели от равнинных государств, получая от них жизненно важные товары, и могли выступать плечом к плечу с ними, чтобы в полной мере пользоваться возможностями получения прибыли, в том числе и от грабежей, в целом оставаясь при этом вне сферы прямого политического государственного контроля. Другие горные народы, более отдаленные и/или эгалитарные, судя по всему, структурировали себя как своеобразную антитезу иерархии и властным отношениям в долинах. Народы равнин и гор представляют две противоположные политические модели: первая — централизованная и однородная, вторая — дисперсная и многоликая; каждая нестабильна и состоит из человеческого материала, в то или иное время принадлежащего другой стороне.

Горные сообщества — отнюдь не исходный, первичный «материал», из которого были изготовлены государства и «цивилизации», а скорее, целенаправленный результат процессов государственного строительства, представляющий собой сознательно сконструированный объект, максимально непривлекательный для поглощения. Как и кочевое скотоводство, расценивающееся как форма вторичной адаптации населения, желавшего оставить оседлый образ жизни в аграрных государствах, но при этом продолжать пользоваться предоставляемыми ими возможностями торговли и набегов, точно так же и подсечно-огневое земледелие, в свою очередь, представляет собой тип вторичной адаптации. Как и скотоводство, оно способствует рассеянию населения и не предполагает возникновения «нервных центров», которые может захватить государство. Нестабильная и ускользающая природа подобных хозяйственных технологий крайне усложняет их поглощение. Горные сообщества — с их целенаправленно выбираемыми труднодоступными местоположениями поселений, сложным набором лингвистических и культурных идентичностей, исключительным разнообразием хозяйственных практик, способностью делиться и рассеиваться, подобно «медузообразным» племенам Ближнего Востока, а также умением, отчасти благодаря космологиям равнинных государств, буквально в мгновение ока формировать новые устойчивые идентичности — будто бы специально созданы как самый страшный кошмар основателей государств и колониальных чиновников.

В аналитических целях мы должны вновь обратиться к элементарным единицам любого горного сообщества — это деревеньки, сегментированные генеалогические структуры, нуклеарные семьи и занимающиеся подсечно-огневым земледелием группы. Уникальность, многообразие и взаимозаменяемость идентичностей и социальных единиц в горах делают их неподходящим сырьем для государственного строительства. Эти единицы время от времени образовывали небольшие конфедерации и союзы в военных и торговых целях, под руководством харизматического пророка, но очень быстро распадались на составляющие их элементы. Потенциальные создатели государств считали их бесперспективными, историки и антропологи — в неменьшей степени обескураживающими. Отметив текучесть и химерный характер большинства этнических идентичностей, Франсуа Робинн и Мэнди Оадан не так давно предположили, что с этнографической точки зрения корректнее фокусироваться на анализе деревень, семей и сетей взаимных обменов, отказав этнической принадлежности в ее прежде привилегированном статусе «своего рода артефакта высшего порядка, охватывающего все прочие культурные маркеры; теперь она превратилась лишь в один из

множества культурных маркеров»[836]. Учитывая проницаемость этнических границ, совершенно сбивающую с толку вариативность каждой конкретной идентичности и исторически причудливо меняющиеся трактовки того, что означало быть качином или кареном, здоровый агностицизм по отношению к категории этнической принадлежности выглядит исключительно правильным подходом. Если мы последуем мудрому совету Робинн и Оадан, подозреваю, что большинство проблем, связанных с текучестью и полным хаосом в горах, будет разрешено — как только мы станем исследовать социальный порядок и переформатирование идентичностей как стратегическое репозиционирование деревень, групп и социальных сетей относительно политического, экономического и символического притяжения ближайших равнинных государств.

Бегство от государства и предотвращение государства: глобальные и локальные стратегии

Свое исследование Вомии, точнее, ее горного массива, я начал не столько в целях изучения горных народов как таковых, сколько в качестве этапа написания своего рода глобальной истории народов, ускользающих от государства или выталкиваемых им. Несомненно, эта задача мне одному не по плечу и в идеале должна решаться совместными усилиями огромного числа ученых: только в юго-восточно-азиатском контексте мне пришлось бы осветить существенно больше вопросов, чем удалось рассмотреть в этой книге. Как минимум в нее следовало бы включить историю морских цыган (оранг-лаутов), которые в качестве стратегии избегания государственного состояния выбрали переселение на лодки. Будучи рассеяны по морским пространствам, они могли скрыться от работорговцев и государств в сложных переплетениях водных путей архипелага, совершая набеги, захватывая рабов и иногда служа наемниками. Некоторое время в малайском Малаккском султанате они были фактически морской версией казаков на службе царских вооруженных сил. Жизнь оранг-лаутов была многими нитями связана с населением мангровых побережий и вечно меняющихся дельт великих рек Юго-Восточной Азии. Каждое из этих мест серьезно усложняло государственный контроль, а потому служило зоной спасения от него.

Другие народы и географические условия, которые могут быть вписаны в глобальную историю внегосударственных пространств, упомянуты в книге попутно, в качестве иллюстративных примеров. Жизнь цыган, казаков, берберов, монголов и других кочевых скотоводов имеет принципиально важное значение для реконструкции истории государственных периферий. Общины беглецов везде, где несвободный труд был неотъемлемым элементом государственного строительства, как в большинстве регионов Нового Света, России, римского и исламского мира, отвечают за другую часть этой глобальной истории, не говоря уже об африканцах, подобных догонам, у которых избегание государства было главной жизненной ценностью. Безусловно, и рассказ о колониальных завоеваниях, в результате которых коренные народы оказывались под угрозой истребления или вынуждены были бежать из прежних мест обитания в новые, составил бы отдельную

большую главу в нашей истории[837]. Сравнительное изучение зон бегства показывает, что, несмотря на всю их географическую, культурную и временную разбросанность, они обладают рядом общих черт. К какой бы исторической эпохе они ни принадлежали, большинство осколочных зон, куда с течением времени устремлялись самые разные группы, отличаются то особое этническое и лингвистическое многообразие и подвижность, которые мы обнаружили в Вомии. Помимо предпочтения особо удаленных и труднодоступных приграничных территорий, переселяющиеся сюда народы, как правило, придерживались таких хозяйственных практик, которые максимально увеличивали их рассеяние, мобильность и сопротивляемость государственному поглощению. Их социальная структура также способствовала пространственному рассредоточению, разделению и переформатированию групп, в результате чего они казались внешнему миру некоей бесформенной массой, в которой отсутствовали явные институциональные рычаги для внедрения проектов унифицированного централизованного управления. И наконец, многие, но ни в коем случае не все группы на внесосударственном пространстве отличались сильными, даже жестокими традициями поддержания эгалитаризма и автономии одновременно на поселенческом и родовом уровнях, и эти традиции эффективно противостояли установлению тирании и постоянной социальной иерархии.

Большинство народов, проживающих в горном массиве Воми, видимо, выбрали достаточно внушительное количество культурных способов, позволяющих уклоняться от поглощения государством, но при этом пользоваться всеми экономическими и культурными возможностями, которые гарантирует соседство с ним. Частью этого набора является исключительная подвижность и неопределенность идентичностей, которые горные народы могут примерять по мере необходимости. Эта поразительная черта так сильно раздражала государственных чиновников, что Ричард О'Коннор предположил: если обычно мы утверждаем, что группа обладает этнической идентичностью, то в Юго-Восточной Азии, «где народы меняют свою этническую принадлежность и местожительство достаточно часто, лучше говорить, что *этническая идентичность заполучила народ*»[838]. Пожалуй, это одна из базовых характеристик осколочных зон на пересечении границ нестабильных государственных образований, своего рода награда за поразительную адаптивность. Большинство горных сообществ имеют в своем распоряжении полностью собранный багаж для путешествий либо в пространстве, либо между идентичностями, либо по обоим маршрутам сразу. Обширный репертуар языков и этнических принадлежностей, способность к собственному переизобретению согласно пророческим откровениям, короткие и/или устные генеалогии и талант к фрагментации — вот базовые «вещи» в их внушительном дорожном наборе.

В заданном контексте следует обратиться к оценке горных народов Фернаном Бродемом, а именно к его утверждению, что их «история сводится к полному отсутствию таковой и постоянному пребыванию на обочине великих цивилизационных волн»[839]. В отношении Воми эта идея не работает и требует радикального пересмотра, поскольку горные народы имеют множество версий истории, которые используют по отдельности или в разных сочетаниях в зависимости от обстоятельств. Некоторые из них, например лису и карены, имеют предельно короткие родословные и обрывочные воспоминания о миграциях. У вас складывается впечатление, что у них нет определенной истории, только потому, что они научились путешествовать налегке, не зная, каким будет их следующий пункт назначения.

Они не живут вне времени, без истории. Скорее, будто трамповые суда, идущие по великим торговым путям, или цыгане, колесящие по дорогам государств, они развили искусную ловкость, от которой зависит их жизненный успех. Их интересам соответствует сохранение как можно большего количества открытых возможностей, одна из которых — выбор из множества версий истории. Фактически они «имеют» ровно столько истории, сколько им требуется.

Подобные варианты культурного позиционирования наряду с географической удаленностью, мобильностью, выбором сельскохозяйственных культур и технологий земледелия, а также социальная структура без верховной власти и рычагов управления, несомненно, представляют собой приемы избегания государства. Но крайне важно понимать, что горные народы уклонялись не от отношений с государствами, а от статуса их подданных. Жители государственных периферий старательно избегали жесткого контроля со стороны фискальных органов с их способностью выбивать из подданных прямые налоги и трудовые отработки. Однако горцы стремились, иногда с очевидным пылом, установить с равнинными государствами такие отношения, которые сочетались бы с высокой степенью политической автономии. Так, огромное количество политических конфликтов породила борьба за привилегированный статус основного партнера того или иного торгового центра в долине. Как мы уже убедились, горы и равнины были дополняющими друг друга агро-экологическими нишами, что, как правило, означало постоянную конкуренцию равнинных государств за возможность получать товары гор и пополнять их жителями собственное население.

Как только благоприятный формат отношений устанавливался, он мог сразу же приобрести черты данничества, которое, несмотря на всю свою внешнюю асимметричность, зафиксированную в церемониалах и архивах равнинных государств, на практике нередко означало главенство горного партнера — не следует принимать самопрезентации равнинных государств за чистую монету. За пределами жестко регулируемой государственной властью сферы налогообложения и барщинного труда лежала существенно большая по масштабам теневая экономика, в которой обменные операции существовали в рамках данничества. Эта теневая зона обеспечивала устойчивые и взаимовыгодные торговые связи, которые, за крайне редким исключением, не предполагали ничего похожего на постоянное политическое подчинение. Чем выше была стоимость товаров и меньше их размер и вес, тем больше росла теневая экономика; когда речь шла о драгоценных камнях, редких лекарственных препаратах и опии, ее размеры были просто безграничны[840].

Символическое и космологическое влияние великих равнинных государств было одновременно широкомасштабным и поверхностным. Выли ли его корни китайскими, индийскими или экзотическим сочетанием тех и других — почти все идеи, легитимирующие властные претензии выше уровня отдельной деревни, были заимствованы у равнинных государств. Эти идеи, оттолкнувшись от своих причалов в долинах, уходили в свободное плавание и переформулировались в горах в соответствии с местными задачами. Термин «бриколаж» хорошо описывает этот процесс, поскольку фрагменты равнинных космологии, систем регалий и титулов, одеяний и архитектуры перемешивались и собирались пророками, целителями и амбициозными вождями в уникальные сочетания. Тот факт, что

исходный символический материал импортировался из долин, совершенно не мешал высокогорным пророкам вплавлять его в миллениаристские ожидания, посредством которых они мобилизовывали горные народы на борьбу с культурным и политическим господством равнинных государств[841].

Роль космологии в обеспечении коллективных действий и преодолении того, что некоторые обществоведы называли бы транзакционными издержками социальной фрагментации, гипотетически вписывается в общую концепцию избегания государств. Те самые особенности горных сообществ, что помогали им уклоняться от инкорпорирования, — рассеяние, мобильность, этническая сложность, подсечно-огневое земледелие в небольших группах и эгалитаризм — способствовали социальной раздробленности и оказывались непреодолимыми препятствиями на пути к объединению и коллективным действиям. По иронии судьбы единственный ресурс и фундамент сотрудничества горных народов был заимствован из долин, где социальная иерархия и соответствующая ей космология воспринимались как должное.

Практически все горные сообщества демонстрируют тот или иной тип избегающего поведения. У одних оно сочетается с определенной степенью внутренней иерархии и время от времени с имитацией государственного строительства. Другие, напротив, совмещают стратегии избегания государства с практиками, предупреждающими формирование государственных структур внутри сообществ. Видимо, группы без институтов верховной власти, с сильными традициями равенства и санкциями против устойчивых иерархических отношений, например акха, лаху, лису и ва, следует отнести к последней категории. Сообщества, придерживающиеся стратегий предупреждения государства, обладают рядом общих характеристик: не допускают формирования постоянных иерархий родов через брачные союзы; как правило, имеют традицию предостерегающих легенд об убийствах или изгнаниях слишком амбициозных старост; наконец, их деревни и роды обычно распадаются на более мелкие и эгалитарные, если возникает угроза укрепления системы неравенств.

Вариативность расколов и форм адаптации

Пытаясь описать осколочные зоны или регионы бегства, такие как Вомиа, мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Чтобы отразить текучесть и пластичность горных сообществ, приходится с чего-то начинать, даже если это «что-то» тоже пребывает в движении. Я выполнил это условие, заведя разговор о «каренах», «шанах» и «хмонгах» так, будто они представляют собой цельные и статичные социальные единицы. Но они явно таковыми не являются, особенно если наблюдать за ними в длительной исторической перспективе. Поэтому, рискуя окончательно запутать читателя и самого себя, я был вынужден вернуться к описанию того, насколько радикально текучи были горные сообщества. Беглецы из долин постоянно, насколько можно судить, пополняли население гор, а горные народы поглощались и ассимилировались равнинными государствами, но «граница» между народами гор и долин сохранялась, невзирая на массовые перемещения в обоих

направлениях. Горные сообщества весьма проницаемы: многокомпонентность свойственного им формата идентичности определяет абсолютную произвольность любых жестких «идентификационных разграничений». Если горные сообщества переформатируют себя, то так же поступают и составляющие их индивиды, родственные группы и общины. И если горные сообщества как-то позиционируют себя относительно проектов государственного строительства в долинах, то соответствующим образом они выстраивают и свои отношения с горными соседями в этом сложноустроенном смешении народов[842]. В этом нет ничего удивительного: процессы позиционирования и взаимной адаптации являются лейтмотивом политической жизни в горах. Нас все это буквально сводит с ума, но некоторым утешением может служить тот факт, что, хотя реалии гор ставили в тупик колониальные режимы и государственных чиновников, сами горцы никогда не путались и не сомневались в том, кем являются и что делают.

Адаптация к опасностям и искушениям со стороны соседних политических образований вряд ли является отличительной чертой народов, живущих на периферии государств. Населяющее их крестьянство также разработало ряд приемов, позволяющих использовать благоприятную конъюнктуру проживания в политическом центре и при этом ограждающих от наихудших последствий государственных потрясений. Имевшийся в распоряжении китайских крестьян в периоды правлений династий Мин и Цин набор стратегий адаптации к династическим кризисам и эпохам устойчивого социального порядка и процветания детально исследован Дж. У. Окиннером[843]. Для целей нашего анализа важно подчеркнуть общую характеристику подобных наборов: они представляли собой ряд защитных мер крестьянства, которое не желало покидать место своего проживания и оставлять оседлое сельское хозяйство. По сути эти меры являлись способом самообороны в крайне стесненных обстоятельствах. Изучение стратегий адаптации крестьянства в центрах государств позволяет понять, насколько большими возможностями располагали народы на периферии государственных пространств.

В периоды укрепления династий, мира и оживленной торговли, как поясняет Окиннер, местные сообщества становятся более открытыми и учатся извлекать пользу из появляющихся новых возможностей внешнего мира. По мере их использования они развивают свою экономическую специализацию и торговлю, налаживают административные и политические связи. И наоборот, в годы упадка династий, экономической депрессии, гражданских столкновений и бандитизма местные сообщества все больше закрываются от внешнего мира, прибегая к самоизоляции как средству самозащиты. Согласно Окиннеру, она обеспечивалась четко по схеме: сначала обязательное замыкание в себе, затем ограничение экономических контактов и, наконец, жесткая военная оборона. Образованные люди и торговцы возвращались домой, экономическая специализация сокращалась, местные запасы продовольствия прятались, чужаки изгонялись, формировались отряды для охраны урожая, возводились частоколы, организовывалось местное ополчение[844]. Если бегство и восстание были недоступны, то все, что оставалось местному сообществу перед лицом нарастающей угрозы со стороны внешнего мира, — оградиться от него социокультурными, экономическими и военными барьерами. Не сдвигаясь с места, оно пыталось создать автономное автократическое пространство и объявляло о независимости от более крупной социальной системы, если опасность сохранялась. Когда угроза отступала, местное сообщество постепенно открывалось внешнему миру, но в обратной последовательности:

сначала в военном, затем в экономическом и, наконец, в социокультурном отношении.

Горные сообщества Вомии обладают сопоставимым, но более широким набором возможностей, при этом выбор тех или иных конфигураций определяется либо желанием более тесной интеграции с соседними государственными образованиями, либо же, наоборот, стремлением удержать их на расстоянии. В отличие от описанного Окиннером китайского крестьянства, застрявшего-в-грязи-для-выращивания-поливного-риса, жители возвышенностей были мобильны и могли перемещаться на значительные расстояния, располагали целым рядом хозяйственных технологий, которые можно было применять по отдельности или в разных сочетаниях, как того требовали обстоятельства. В конце концов, горные сообщества фактически были сформированы несколькими волнами сепаратизма, но могли регулировать и корректировать его степень. Подобные изменения могли касаться целого ряда критериев, мало доступных крестьянству в центрах равнинных государств. Первым из них было местоположение: чем выше и отдаленнее размещались поселения, тем дальше они оказывались от центров государств, набегов рабовладельцев и налогообложения. Второе измерение составляли размеры группы и мера ее пространственного рассредоточения: чем меньше были поселения и больше степень их рассеяния, тем менее привлекательным объектом группа оказывалась для работорговцев и государств. И наконец, горные народы имели возможность менять и меняли свои хозяйственные практики, каждая из которых означала определенное позиционирование по отношению к государствам, социальной иерархии и политическому поглощению.

В заданном контексте Хьёрлифур Йонссон противопоставляет три хозяйственные стратегии: 1) охоту-собирачество и сбор даров природы на продажу; 2) подсечно-огневое земледелие; 3) оседлое сельское хозяйство[845]. Собирачество практически гарантирует непоглощение государством и не способствует развитию социального неравенства. Подсечно-огневое земледелие устойчиво к поглощению государством, но может создавать излишки продукции и некоторую, обычно временную, иерархию[846]. Оседлое сельское хозяйство, особенно такая его разновидность, как поливное рисоводство, привлекательно для государства и набегов и неразрывно связано с крупными поселениями и устойчивыми социальными иерархиями. Перечисленные сельскохозяйственные технологии могли комбинироваться в разных сочетаниях и соотношениях, которые менялись со временем, но для яо/мьенов было совершенно очевидно, что любое решение о модификации хозяйственных практик влекло за собой политические последствия. Собирачество и подсечно-огневое земледелие воспринимались теми, кто этим занимался, как формы политического дистанцирования от равнинных государств, и собирачество было в этом случае более радикальным выбором[847].

Таким образом, жившие в горах группы имели в своем распоряжении широкий выбор мест, пригодных для поселений, и доступных социальных и агроэкологических стратегий, которые включали в себя весь диапазон жизненных практик, начиная с занятий поливным рисоводством в долинах и добровольного инкорпорирования в качестве крестьян в равнинное государство и заканчивая собирачеством и подсечно-огневым земледелием в отдаленных, укрепленных, обнесенных частоколами поселениях, жители которых старательно поддерживали свою репутацию безжалостных убийц всех тех, кто посмеет вторгнуться на их территорию. Между этими двумя абсолютно полярными

противоположностями находилось множество разных сложных комбинаций — какая именно из них задействовалась в конкретный момент времени, зависело частично, как у китайских крестьян Окиннера, от внешних обстоятельств. В мирное время, в периоды экономической экспансии и государственной поддержки поселений горные группы обычно переходили к оседлому земледелию, перемещались ближе к государственным центрам в долинах, стремились установить с ними отношения данничества и торговое партнерство, сближались в этническом и лингвистическом отношениях. В годы войн, социальных кризисов, непомерного налогового бремени и набегов за рабами горные народы начинали смещаться в обратном направлении и, по всей вероятности, к ним присоединялись беглецы из центров государственности.

Каждый горный народ в конкретный момент времени, как правило, придерживается определенной конфигурации хозяйственных практик, например занимаясь подсечно-огневым земледелием на больших высотах и выращивая опий. Может показаться, что именно культура определяет выбор той или иной сельскохозяйственной технологии, однако в длительной исторической перспективе мы, скорее всего, обнаружим значимые различия хозяйственных занятий этнической группы, поскольку зачастую ее подгруппы оказывались в разных ситуациях. И нет никаких оснований полагать, что трансформации происходили в одном-единственном направлении[848]. Напротив, чем больший временной отрезок мы берем, тем больше у нас поводов говорить о многократных переформированиях, которые имели целью сближение с равнинными государствами или дистанцирование от них и которые стали «традицией» в рамках гибкой устной культуры.

Здесь следует вспомнить, что большинство собирателей и кочевых народов, а возможно, и подсечно-огневых земледельцев — не сохранившиеся осколки коренных народов, а скорее, результат многочисленных адаптационных процессов, происходивших в тени государств. Пьер Кластр полагал, что сообщества собирателей и подсечно-огневых земледельцев, в которых отсутствуют институты верховной власти, превосходно приспособлены для того, чтобы пользоваться всеми преимуществами своих агроэкологических ниш в торговле с близлежащими государствами, но при этом умудряться ускользать от подчинения им в качестве подданных. Социальный дарвинист расценил бы мобильность горных народов, свободное пространственное рассеяние их общин, их модель социальной иерархии, отвергающую наследственную передачу социального статуса, устную культуру, внушительный набор хозяйственных и идентификационных стратегий и, возможно, пророческие наклонности как гениальные механизмы адаптации к беспокойной внешней среде. Горные народы лучше подготовлены к выживанию в качестве автономных субъектов в политическом окружении государств, чем к роли их создателей.

Цивилизация и ее враги

Британские и французские колониальные власти, оправдывая новое налоговое бремя, нередко объявляли его неизбежной платой своих подданных за возможность жить в «цивилизованном обществе». Посредством этого дискурсивного лукавства они искусно провернули три трюка: навесили на своих подданных ярлык «доцивилизованных» и подменили имперские идеалы колониальной реальностью, а «цивилизацию» —

государственным строительством.

«Правильная» история цивилизации нуждается в диком антагонисте, как правило, вне зоны непосредственной досягаемости, который в конечном итоге будет усмирён и инкорпорирован. О какой именно цивилизации идёт речь — французской, ханьской, бирманской, киньской, британской или сиамской — неважно, ибо каждая определяет себя через подобное отрицание. Собственно поэтому племена и этнические группы «возникают» там, где заканчиваются суверенитет и налогообложение.

Можно мгновенно понять, почему так-и-должно-быть истории, сочинённые в целях повышения самооценки и сплочённости правителей, оказывались неубедительными на границах империй. Представьте классическое китайское образование по конфуцианскому канону — сыновняя почтительность, соблюдение ритуалов и обязанностей правителя, доброжелательная забота о благополучии подданных, достойное поведение, добродетельность, — скажем, в ситуации, сложившейся в середине XIX века на границах провинции Юньнань или Гуйчжоу. Невозможно было не поразиться той пропасти, что отделяла эти идеалы от реалий жизни на окраинах империй Мин и Цин. «Живущая полной жизнью» граница, в отличие от своего дискурсивного образца, просто кишела коррумпированными гражданскими судьями, которые принимали судебные решения в пользу тех, кто предлагал самую высокую цену, вооружёнными авантюристами и бандитами, сосланными чиновниками и преступниками, незаконными захватчиками земель, контрабандистами и доведёнными до полного отчаяния ханьскими поселенцами[849]. Неудивительно, что идеалы ханьской цивилизации были здесь не в ходу. Напротив, расхождение жизненных реалий с идеальными образцами было достаточной причиной и для местных жителей и для имперских чиновников не верить цивилизационному дискурсу[850].

Государственные образования ханьцев и буддистов Тхеравады в Китае и Юго-Восточной Азии придерживались различных трактовок понятия идеального, «цивилизованного» подданного. Ханьцы не включали в список критериев цивилизованности религиозную принадлежность, ограничиваясь патриархальным типом семьи, табличками (культом) предков и знанием иероглифов как условиями этнической ассимиляции. Бирманцы и тайцы подчеркивали важность религиозной принадлежности, требуя принятия буддизма и почитания сангхи, но, с другой стороны, страдающие от нехватки рабочей силы государства материковой части Юго-Восточной Азии не могли позволить себе этнического снобизма. Классические царства индийского типа, как, например, ханьские, были жестко иерархическими, но с этнической точки зрения весьма всеядными.

Все подобные государства, по очевидным фискальным и военным соображениям, были рисовыми и потому делали все от них зависящее, чтобы стимулировать плотное концентрированное заселение своих центров и поливное рисоводство, ему способствующее. Пока подданные рисовых государств выращивали одни и те же зерновые примерно одними и теми же способами в общинах, которые были достаточно социально однородными, решение задач оценки земель, сбора налогов и управления не представляло особой сложности. Восприятие ханьцами патриархального домохозяйства как базовой единицы отношений собственности и управления ещё больше упростило социальный контроль. Идеальный подданный рисового государства также должен был соответствовать

институциональным определениям пространства и поселений, согласно которым расчищенные равнины, занятые орошаемыми рисовыми полями и обрабатывающими их общинами, представляли идеальное сочетание окультуривания природы и человека.

О другой стороны, чиновники препятствовали всем формам поселений, хозяйственных практик и социальной организации, которые создавали неприемлемый для государства пейзаж. Они противодействовали, а если могли, то и запрещали дисперсное расселение, собирательство, подсечно-огневое земледелие и миграцию из центра государства. Рисовые поля стали символом цивилизованного пейзажа и правильной социальной организации жизни подданных и производства; как следствие, те, кто жил в отдаленных горных или лесных районах, предпочитал менять местоположение своих полей, а часто и собственную идентичность и основывал всё новые небольшие деревеньки, считались нецивилизованными. Самый удивительный здесь факт — насколько четко идеальные модели цивилизованного пейзажа и демографии совпадали с теми, что максимально подходили для государственного строительства, и насколько часто пространство, ему не способствующее, и населяющие таковое люди объявлялись нецивилизованными и варварскими. В итоге самыми точными индикаторами цивилизованности оказались агроэкологические условия, наиболее приемлемые для государственного строительства, и не более того.

У имперских элит тесная взаимосвязь жизни на окраинах государства с примитивностью и отсталостью не вызвала сомнений. Достаточно перечислить самые яркие характеристики пейзажей и народов, находящихся вне пределов досягаемости государства, чтобы получить каталог маркеров примитивности. Проживание в труднодоступных лесах и на вершинах гор — признак нецивилизованности. Собирательство, сбор даров леса даже в коммерческих целях и подсечно-огневое земледелие — признаки отсталости. Рассеяние и небольшие по размерам поселения — признаки архаичности. Пространственная мобильность и недолговечные изменчивые идентичности — признаки одновременно примитивности и угрозы. Если сообщество не исповедовало религию великих равнинных государств и не состояло из подданных, исправно платящих налоги монархам и десятину духовенству, то автоматически определялось как не принадлежащее цивилизованному миру.

В представлении долин все перечисленные характеристики — маркеры первых этапов социальной эволюции, на вершине которой находятся элиты равнинных государств. Горные народы олицетворяют ее первые стадии и являются «пред—» по всем пунктам: занимаются пред-рисовыми формами земледелия, ведут пред-городской образ жизни, исповедуют пред-религиозные верования и признаются пред-письменными предками подданных равнинных государств. Как уже отмечалось, признаки и черты, на основе которых осуществлялась стигматизация горных народов, в точности совпадали с теми, что старательно развивало и совершенствовало ускользающее от государств население, чтобы избежать подчинения и сохранить автономию. Воображение империй извратило историю горных народов, которые на самом деле ничему не пред-шествуют. В действительности к их истории следовало бы применить слово «после»: после поливного рисоводства, после оседлого образа жизни в качестве подданных государств и, возможно после обладания письменностью. В длительной исторической перспективе они олицетворяют целенаправленную безгосударственность как ответную реакцию народов, адаптировавшихся к жизни в мире государств, но сумевших

ускользнуть от их жесткого контроля.

Сложно назвать конкретные ошибки в восприятии равнинными государствами агроэкологии, социальной организации и мобильности ускользнувших от них народов — государства просто рассортировали их по правильным со своей точки зрения категориям. Проблема в том, что государства радикально ошиблись не только в трактовке логики исторического процесса, но и в обозначении самих этих категорий. Если бы они заменили бирку «цивилизованный» на «подданный государства», а «нецивилизованный» на «не-подданный-государства», это было бы честнее и правильнее.

Версия #1

Зверобой создал 17 апреля 2025 23:54:23

Зверобой обновил 17 апреля 2025 23:56:23